

На исходе недели стервятники-грифы разодрали металлические оконные сетки, проникли через окна и балкон в президентский дворец, взмахами крыльев всколыхнули в дворцовых покоях спертый воздух застоявшегося времени, и в понедельник на рассвете город очнулся наконец от векового летаргического сна, в который он был погружен вместе со всем своим превращенным в гниль величием; только тогда мы осмелились войти, и не было нужды брать приступом обветшалые крепостные стены, к чему призывали одни, самые смелые, или таранить дышлами воловьи упряжек парадный вход, как предлагали другие, ибо стоило лишь дотронуться, как сами собой отворились бронированные ворота, которые в достославные для этого здания времена устояли под ядрами Уильяма Деймпера*, и вот мы шагнули в минувшую эпоху, и чуть не задохнулись в этом огромном, превращенном в руины логове власти, где даже тишина была ветхой, свет зыбким, и все предметы в этом зыбком, призрачном свете различались неясно; в первом дворе, каменные плиты которого вздыбились и треснули

* Уильям Деймпер — английский мореплаватель конца XVII — начала XVIII в. — *Здесь и далее примеч. пер.*

под напором чертополоха, мы увидели брошенное где попало оружие и снаряжение бежавшей охраны, увидели длинный дощатый стол, уставленный тарелками с гниющими остатками воскресного обеда, прерванного паникой, увидели мрачное полутемное строение, где некогда размещалась канцелярия, а в нем — яркие ядовитые грибы и бледные смрадные цветы, проросшие из груды нерассмотренных дел, чье прохождение длилось медленнее самой бездарной жизни; а еще мы увидели в этом дворе поставленную на возвышение купель, в которой крестились пять поколений обитателей этого дворца, и увидели в глубине двора допотопную вице-королевскую конюшню, превращенную в каретный сарай, и в нем, среди туч моли, мы увидели карету эпохи Великого Шума, крытую повозку времен Чумы, выезд года Кометы, похоронные дроги времен Прогресса в рамках порядка, сомнамбулический лимузин Первого Века Мира, и все это было в приличном состоянии и выкрашено в цвета национального флага, хотя и покрыто грязью и паутиной; в следующем дворе за железной оградой цвели розы, серебристые, словно припорошенные лунной пылью; под сенью этих роз в былые, славные для этого дворца времена спали прокаженные; розовые кусты так разрослись без присмотра, что заполонили все кругом; воздух был напоен запахом роз, однако к нему примешивалось зловоние, исходящее из глубин сада, а к этому зловонию примешивался смрад курятника, смрад коровьих испражнений, а также смрад солдатской мочи — солдаты испокон веку справляли малую нужду у стены колониальной базилики, превращенной в молочную ферму; пробираясь сквозь удушливый розовый кустарник, мы вышли к

арочной веранде, уставленной горшками с гвоздиками, махровыми астрами и анютиными глазками; это была веранда курятника для его женщин, и, судя по грудам разного валявшегося здесь барахла и количеству швейных машин, можно было предположить, сколько женщин обитало в этом бараке, — не менее тысячи с кучей детей-недоносков каждая; мы увидели мерзость запустения на кухнях, увидели сгнившее в корытах белье, увидели разверстый сток нужника, общего для солдат и женщин; увидели вавилонские ивы, привезенные из Малой Азии в гигантских кадках с тамошней землей, — сизые, словно покрытые изморосью ивы, а за ивами предстал перед нами его дворец, его дом, огромный, угрюмый, — сквозь оконные проемы, жалюзи с которых были сорваны, все еще влетали и вылетали грифы; нам не пришлось взламывать двери, они распахнулись сами, словно повинувшись нашим голосам, и вот мы поднялись на главный этаж по каменной лестнице, покрытой опереточно роскошным ковром, который был истоптан коровьими копытами, и, начиная от первого холла и кончая последней спальней, мы заглянули во все комнаты, прошли через все служебные помещения, через бесчисленные приемные, и всюду бродили невозмутимые коровы; они жевали бархатные шторы и мусолили атласную обивку кресел, наступая на святые иконы и на портреты полководцев, валявшиеся на полу среди обломков мебели и свежих коровьих лепешек; коровы хозяйничали в столовой и в концертном зале, оскверняя его своим мычанием, — всюду были коровы; а еще мы увидели поломанные столики для игры в домино и сукно бильярдных столов, зеленовато-белесое, словно луга после выгула коровьих стад, и увидели брошен-

ную в углу машину ветров, лопасти которой могли имитировать морской ветер любого направления, дабы обитатели этого дома не мучились тоской по морю, покинувшему свои берега; а еще мы увидели висящие повсюду птичьи клетки с наброшенными на них платками, — как набросили их на ночь на прошлой неделе, так они и остались; а из бесчисленных окон был виден город — огромное животное, еще не осознавшее исторический понедельник, в который оно вступало, а за городом до самого горизонта тянулись пустынные кратеры, холмы шершавого, словно лунного, пепла на бесконечной равнине, где некогда волновалось море; а из запретной обители, куда недавно осмеливались войти лишь немногие, доносился запах гниения, запах падали, слышно было, как там астматически дышат грифы, и мы ступили туда и, ведомые ужасным запахом и направлением полета грифов, добрались до зала заседаний, где обнаружили все тех же коров, толькодохлых, — их червивые туши, их округлые филейные части множилось в громадных зеркалах зала; мы толкнули потайную боковую дверь, ведущую в его кабинет, и там увидели его самого в полевой форме без знаков различия, в сапогах; на левом сапоге блестя золотая шпора. Старше любого смертного на земле, более древний, чем любое доисторическое животное воды и суши, он лежал ничком, зарывшись лицом в ладони, как в подушку, — так, в этой позе, спал он всегда, все долгие ночи долгой жизни деспота-затворника; но когда мы перевернули его, чтобы увидеть лицо, то поняли, что опознать его невозможно, и не только потому, что лицо исклевали грифы; как узнаешь, он ли это, если никто из нас не видел его при жизни? И хотя профиль его отчеканен на любой

монете с обеих сторон, изображен на почтовых марках, на этикетках слабительных средств, на бандажах и на шелковых ладанках, хотя его литографический портрет в золотом багете, изображающий его со знаменем и драконом на груди, был перед глазами у каждого в любой час и повсюду, мы знали, что это были копии с давних копий, которые считались неверными уже в год Кометы, когда наши родители узнавали от своих родителей, кто он такой и как выглядит, а те знали это от своих дедов; с малых лет мы привыкли верить, что он вечен и вечно здравствует в Доме Власти; мы знали, что кто-то в канун праздника видел, как вечером он зажигал в Доме Власти шары-светильники, слышали рассказы о том, как кто-то увидел его тоскливые глаза, его бледные губы в оконце президентской кареты, увидел его руку, просунутую из оконца поверх затканной серебром, словно церковная риза, шторы, — руку, задумчиво благословляющую пустынную улицу, мы знали, что он жив-здоров, от одного слепого бродяги, которого много лет назад схватили воскресным днем на улице, где этот бродяга за пять сентаво читал стихи позабытого поэта Рубена Дарио, — схватили, но вскоре выпустили счастливым, с монеткой из чистого золота в кармане, пожалованной ему в качестве гонорара за вечер поэзии, который был устроен только для самого; бродяга его, разумеется, не видел, ибо был слеп, но если бы даже он был зряч, то все равно не смог бы увидеть генерала, потому что со времен Желтой Лихорадки увидеть его не мог ни один смертный. И все-таки мы знали, что он — есть, знали, потому что земля вертелась, жизнь продолжалась, почта приходила, духовой оркестр муниципалитета до субботнего отбоя играл глупые вальсы

под пыльными пальмами и грустными фонарями площади де Армас, и все новые старые музыканты приходили на смену умершим; даже в последние годы, когда из обиталища власти не доносились ни голоса людей, ни пение птиц, когда перестали отворяться окованные броней ворота, мы знали, что во дворце кто-то есть, потому что в окнах, выходящих в сторону бывшего моря, как в иллюминаторах корабля, светился свет, а если кто-нибудь осмеливался подойти поближе, то слышал за дворцовой крепостной стеной топот копыт и дыхание каких-то крупных животных; а однажды в январе мы увидели корову, которая любовалась закатом с президентского балкона; представьте себе, корова на главном балконе отечества! какое безобразие! ну не дерьмовая ли страна?! Но тут все засомневались, возможно ли это, чтобы корова очутилась на президентском балконе? Разве коровы разгуливают по лестницам, да еще по дворцовым, да еще устланным коврами? И такие начались тары-бары, что мы в конце концов не знали, что и думать: видели мы эту проклятую корову на балконе президента или нам это просто померещилось однажды вечером на площади де Армас? Ведь на этом балконе никто никого и ничего не видел давным-давно, вплоть до рассвета роковой пятницы, когда сюда прилетели первые грифы, покинув карнизы больницы для бедных, где они обычно дремлют; но прилетели не только эти грифы, прилетело множество стай издалека — они возникали одна за другой, как некогда волны, которые катились из-за того горизонта, где ныне вместо бывшего моря лежит море пыли; весь день стаи грифов медленно кружились над обиталищем власти, пока их вожак, их король с длинной красной шеей, увен-

чаный, как короной, белыми перьями плюмажа, не отдал безмолвный приказ, и тогда раздался звон разбитых стекол, засмердело великим покойником, грифы стали носиться туда-сюда, влетая и вылетая в какие попало окна, как это бывает лишь в доме, покинутом хозяином, в доме, где нет живых; и в понедельник мы осмелились тоже и вошли и увидели в пустом святилище руины былого величия, и нашли его тело с исклеванным грифами лицом, с выхоленными женственными руками, — на правой руке, на безымянном пальце, был перстень с государственной печаткой; все его тело было покрыто мелкой сыпью, особенно под мышками и в паху; на нем был брезентовый бандаж, который поддерживал огромную, как раздутая бычья почка, килу, — единственное, чего не тронули грифы. Но даже теперь мы не могли поверить в его смерть, ибо однажды он уже был найден мертвым в этом кабинете, — казалось, он умер естественной смертью, во сне, именно так, как это давным-давно предсказала ему, глядя в лохань с водой, гадалка-провидица; в те времена годы его осени лишь наступали, а страна была еще достаточно живой, чтобы он не чувствовал себя в безопасности даже в собственном кабинете, в своей потайной спальне, но тем не менее он правил так, словно был уверен, что не умрет никогда, и президентский дворец со всеми его дворами и службами был скорее похож на рынок, нежели на дворец, — на рынок, где было не пробиться сквозь толчею босых денщиков, разгружающих тяжело навьюченных ослов, втаскивающих в дворцовые коридоры корзины с овощами и курами; там нужно было обходить скопища баб, которые с голодными детьми на руках дремали на лестницах в ожидании чудес офици-

ального милосердия; то и дело увертываться от потоков мутной воды, которую его сварливые любовницы выплескивали из цветочных ваз, чтобы поставить в них свежие цветы взамен увядших за ночь; эти дамы протирали мокрыми тряпками полы и распевали песни о греховной любви, отбивая ритм вениками, которыми они выколачивали на балконах ковры; удары веников и пение смешивались с крикливыми голосами пожизненно просиживающих штаны чиновников, бранящихся между собой и с бранью гоняющих кур из ящиков своих письменных столов, где глупые птицы преспокойно несли яйца, а с этой бранью соседствовали звуки общего для женщин и солдат нужника, и гомон птиц, и грызня бездомных дворняг в зале заседаний; и никто здесь не знал, кто есть кто, не знал, где что находится в этом дворце с сотнями распахнутых настежь громадных дверей, и уж никак нельзя было определить в этом бедламе, в этом феноменальном столпотворении, кто и где здесь правительство; хозяин дворца не только принимал участие в этой базарной неразберихе — он был ее творцом, ее вдохновителем и зачинателем, и как только загорался свет в окнах его спальни — а это случалось задолго до первых петухов, — трубач президентской гвардии начал трубить зорю нового дня, сигнал подхватывали в близлежащих казармах Конде и передавали его дальше, на базу Сан-Херонимо, а оттуда он долетал до крепости в порту, и крепость тоже повторяла шесть тактов зори, шесть сигналов, которые будили сперва столицу, а затем всю страну, пока хозяин дворца предавался утренним размышлениям, сидя на стульчаке портативного нужника, зажимая ладонями уши, чтобы унять шум в голове, который начинал в

ту пору докучать ему, и взирая на огни кораблей, плывущих по живому, дымчато-переливчатому, как топазы, морю — в то славное время оно еще плескалось под его окнами; затем он отправлялся на молочную ферму, чтобы проверить, сколько нынче утром надоили молока, и распорядиться насчет его выдачи, после чего три президентские кареты развозили молоко по казармам города, — он лично проверял, сколько надоено, и распорядился выдачей молока с той самой поры, когда водворился в президентском дворце; затем он выпивал на кухне чашку черного кофе и съедал кусок касабэ*, не представляя себе, куда поведут его ветры нового дня, чем он будет нынче заниматься, и с любопытством прислушивался к разговорам прислуги; он делал это всегда, ибо в этой обители он находил общий язык только с прислугой, с ней ему было просто, и он всерьез ценил похвалу себе, исходившую от прислуги, и легко читал в ее сердцах...

Итак, он выпивал кофе и съедал кусок касабэ и почти в девять залезал в гранитную ванну, стоящую в тени миндальных деревьев в его личном дворике, в его патио, и лежал в этой горячей ванне, полной распаренных целебных листьев, до одиннадцати, что помогало ему преодолеть смутную тревогу и обрести спокойствие перед лицом очередных превратностей жизни; некогда, в ту пору, когда только-только высадился сделавший его президентом морской десант, он запирался в кабинете вместе с командующим десантными войсками и вместе с ним решал судьбы отечества, подписывая всякого рода законы и установления

* Касабэ — пирог из маниоки.

отпечатком своего большого пальца, ибо был тогда совсем безграмотным, не умел ни читать, ни писать, но, когда его оставили наедине с отечеством и властью, он решил, что не стоит портить себе кровь крючкотворными писаными законами, требующими щепетильности, и стал править страной как бог на душу положит, и стал вездесущ и непререкаем, проявляя на вершинах власти осмотрительность скалолаза и в то же время невероятную для своего возраста прыть, и вечно был осажден толпой прокаженных, слепых и паралитиков, которые вымаливали у него щепотку соли, ибо считалось, что в его руках она становится целительной, и был окружен сонмищем дипломированных политиканов, наглых пройдох и подхалимов, провозглашавших его коррехидором* землетрясений, небесных знамений, високосных годов и прочих ошибок господя, а он, как слон по снегу, волочил по дворцу свои громадные ноги, на ходу решая государственные и житейские дела с той же простотой, с какой приказывал, чтобы сняли и перенесли в другое место дверь, что исполнялось без промедления, хотя он тут же распорядился, чтобы ее вернули туда, где она была; и это тоже исполнялось без промедления, равно как повеление, чтобы башенные часы били в полночь и в полдень не двенадцать раз, а два, дабы жизнь казалась более долгой, чем она есть на самом деле, — повеление выполнялось неукоснительно, без тени сомнения. И лишь в мертвые часы системы все замирало, все останавливалось, а он в эти часы спасался от зноя в полумраке женского курятника и, не выбирая, налетал на первую попавшуюся женщину, хватал

* Коррехидор — губернатор. Здесь игра слов: коррехидор в первом значении — исправитель.

ее и валил поперек постели, не раздевая и не раздеваясь сам, не заперев за собой дверь, и весь дворец слышал его тяжелое сопение, его собачье повизгивание, его торопливую задышку, частое позвякивание шпоры, вызванное мелкой дрожью в ноге; и был слышен полный ужаса голос женщины, которая в эти любовные минуты пыталась сбросить с себя взгляды своих тощих, худосочных недоносков: «Вон отсюда! марш во двор! нечего вам на это смотреть! нельзя детям смотреть на это!» И словно тихий ангел пролетал по небу отечества, смолкали голоса, замирало всякое движение, вся страна прикладывала палец к губам: «Тсс!.. не дышите!.. тихо!.. генерал занимается любовью!..» Но те, кто знал его хорошо, не принимали на веру даже эту передышку в жизни государства, не верили, что он занят любовными утехами, ибо все прекрасно знали, что он имеет обыкновение раздваиваться: в семь вечера видели его играющим в домино, но ровно в семь вечера он же выкуривал москитов из зала заседаний при помощи горящего коровьего навоза; никто не мог знать наверняка ничего, пока не гас свет во всех окнах и не раздавался скрежет трех замков, грохот трех щеколд и лязг трех цепочек на дверях его спальни, пока не доносился оттуда, из спальни, глухой удар, вызванный падением на каменный пол поваленного усталостью тела, после чего можно было услышать учащенное дыхание уснувшего младенческим сном старого человека, дыхание, которое становилось все более ровным и глубоким по мере того, как все выше подымался на море ночной прилив; и тогда арфы ветра заглушали в барабанных перепонках стрекот цикад, широкая пенная волна набегала